

Николай Чернышевский

О ПИСАТЕЛЯХ  
И ПОЭТАХ • I

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Москва, 2018

УДК 82-95  
ББК 83.3(2Рос=Рус)  
Ч-49

**Чернышевский, Н.**

Ч-49 О писателях и поэтах I / Н. Чернышевский. – М. : T8RUGRAM, 2018. – 226 с.

ISBN 978-5-521-07352-8

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) – русский философ-материалист XIX века, революционер-демократ, теоретик критического утопического социализма, учёный, энциклопедист, литературный критик, публицист и писатель.

«О писателях и поэтах» – сборник литературно-критических статей, в которых автор обращается к произведениям известных поэтов и писателей, среди которых: Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский и многие другие. Благодаря смелости и новаторству в высказываниях Чернышевский оказался в эпицентре литературных дискуссий и привлёк внимание многочисленных читателей.

УДК 82-95  
ББК 83.3(2Рос=Рус)  
BIC FC  
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-07352-8

© T8RUGRAM, 2018

О ПИСАТЕЛЯХ  
И ПОЭТАХ  
I



# ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

*Сочинение графа Л. Н. Толстого*

«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта графа Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за литературой. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим голосом, и, повторяя ее, была совершенно верна правде дела.

Но неужели ограничиться этим суждением, которое, правда, заметило в таланте графа Толстого черты, действительно ему принадлежащие, но еще не показало тех особенных оттенков, какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства», «Отрочества», «Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров» и «Военных рассказов»? Наблюдательность, тонкость психологического анализа, поэзия в картинах природы, простота и изящество — все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева, — определять талант каждого из этих писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе недостаточно для того, чтобы отличить их друг от друга; и повторить то же самое о графе Толстом еще не значит уловить отличительную физиономию его таланта, не значит показать, что этот прекрасный талант отличается от многих других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее.

Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности их отчасти заключается в том, что талант графа Толстого быстро развивается, и почти каждое новое произведение обнаруживает в нем новые черты. Конечно, все, что сказал бы кто-нибудь о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточным после «Ревизора», и суждения, высказывавшиеся о г. Тургеневе как авторе «Андрея Колосова» и «Хоря и Калиныча», надобно было во многом изменять и дополнять, когда явились его «Записки охотника», как и эти суждения оказались недостаточными, когда он написал новые повести, отличающиеся новыми достоинствами. Но если прежняя оценка развивающегося таланта непременно оказывается недостаточною при каждом новом шаге его вперед, то по крайней мере для той минуты, как является, она должна быть верна и основательна. Мы уверены, что не дальше, как после появления «Юности», то, что мы скажем теперь, будет уже нуждаться в значительных пополнениях; талант графа Толстого обнаружит перед нами новые качества, как обнаружил он севастопольскими рассказами стороны, которым не было случая обнаружиться в «Детстве» и «Отрочестве», как потом в «Записках маркера» и «Двух гусарах» он снова сделал шаг вперед. Но талант этот, во всяком случае, уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшею внимательностью. Посмотрим же, какие особенные черты он уже имел случай обнаружить в произведениях, которые известны читателям нашего журнала.

Наблюдательность у иных талантов имеет в себе

нечто холодное, бесстрастное. У нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить, как думает об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на этот вопрос: «Можно думать различно; мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит в вас этот быт? я и сам не могу решить, удивления или негодования он заслуживает». Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятьливость. У новых наших писателей такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях. Не с равною охотой наполняют они свою фантазию всеми образами, какие только встречаются на их пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в черты, которые принадлежат сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г. Тургенева особенно привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзией жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь, по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и

дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексией о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином.

Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играет слишком второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти в совершенном подчинении анализу чувства. Из тех страниц, где она выступает заметнее, едва ли не самая замечательная — памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне Мери, когда он замечает, что она совершенно увлеклась им, бросив кокетничанье с Грушницким для серьезной страсти.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь и т. д. — Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

— Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь,

однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез... и т. д.

Тут яснее, нежели где-нибудь у Лермонтова, уловлен психический процесс возникновения мыслей, — и, однако ж, это все-таки не имеет ни малейшего сходства с теми изображениями хода чувств и мыслей в голове человека, которые так любимы графом Толстым. Это вовсе не то, что полумечтательные, полурефлексивные сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются перед нашими глазами, когда мы читаем повесть графа Толстого, — это не имеет ни малейшего сходства с его изображениями картин и сцен, ожиданий и опасений, проносящихся в мысли его действующих лиц: размышления Печорина наблюдаются вовсе не с той точки зрения, как различные минуты душевной жизни лиц, выводимых графом Толстым, — хотя бы, например, это изображение того, что переживает человек в минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потом в минуту последнего сотрясения нерв от этого удара.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «маркела!» и слова одного из солдат, шедших сзади: «как раз на бастион прилетит!»

Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. Но

это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то голос.

Михайлов и Праскухин прилегли к земле. Праскухин, зажмурясь, слышал только, как бомба где-то очень близко, шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом — бомбу не рвало Праскухин испугался: не напрасно ли он струсил? может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с удовольствием увидел, что Михайлов, около самых ног его, недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его. Он закрыл лицо руками.

Прошла еще секунда, — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а если в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А, может быть, одного Михайлова убьет: тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе... меня!»

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг